

ВЛАДИСЛАВ СОФРОНОВ-АНТОМОНИ

Пошли пузыри

Очерк истории русского философского постмодернизма

«Мы всего лишь мелкие пузыри на огромном пространстве дискурса»

М. Рыклин. «Медиум и дискурс». Беседа с Б. Гройсом¹

Дух 90-х (где он бродит?)

«Весьма неоднородная по стилю, составленная из статей разного времени, эта книга является единым целым в гораздо большей степени, чем может показаться при первом приближении. Она представляет своего рода конструкт, который в зависимости от взгляда то кажется механизмом абсолютно слаженным, самодостаточным и не допускающим никакого вмешательства извне, то, наоборот, полым и подвижным, подразумевающим участие кого-то еще — слушателя, читателя, критика».

Выше приведен отрывок из одной из газетных рецензий на книгу М. К. Рыклина «Пространства ликования». Эта рецензия обратила на себя мое внимание и я ее процитировал вот почему. В ней выражен «дух эпохи» (поэтому я не привожу фамилию автора) 90-х гг., эпохи, когда гуманитарное исследование, исследование из области гуманитарных наук, мыслилось преимущественно как набор фрагментов, каждый из которых не выражает целое и не претендует на полноту, но все вместе, подобно серии набросков к живописному полотну (причем в ситуации принципиального отсутствия самого полотна), дают «образ-того-что-раньше-называлось-реальностью» или «объектом исследования». Понятно, что такое представление о методе корреспондирует и четко соответствует представлению о «текучести» реальности (или уже — объекта исследования); об отсутствии у объекта раз и навсегда данных характеристик; о методологическом релятивизме — не только допустимом, но и необходимом; о, в конечном счете, «симулятивности» реальности; об окружающем нас мире как симулякре-в-себе. В общем, я говорю о том мировоззрении, которое сегодня, уже из первой декады нового века, можно назвать в целом — постмодернистским (постструктуралистским) мировоззрением. (Любой, я полагаю, кто писал заявки на научную ра-

¹ Из книги «Деконструкция и деструкция», с. 226. (Внимание! Цитата вырвана из контекста! — В. С.-А.)

боту или отчеты о ней в 90-х, обязательно стряпал что-то вроде — «работа представляет собой ряд казалось бы разрозненных подходов, но ныне, когда реальность демонстрирует разорванность и фрагментарность...» и т. д. и т. п. Да я сам такое писал. Вот цитата из моего текста 94-го примерно года: «Представляемая через категорию сети текстовая деятельность освободилась бы от необходимого упорядочивания себя в соотношении с центром, будь то социальный институт, тип дискурса, или теоретичность».)

Поэтому ниже я попытаюсь говорить не только о нескольких рецензируемых книгах (их список см. в конце статьи, с. 22. — *Прим. ред.*), но и о постструктуралистской/постмодернистской парадигме в целом — будем называть ее для краткости «постмышлением»; преимущественно, конечно, в его российском изводе, который мне знаком несравненно лучше, чем ситуация в Америке и Западной Европе.

Деконструкция и ликование

Две рецензируемых книги М. К. Рыклина, — одного из ведущих, без всякого сомнения, российских философов, — являются прекрасным и показательным образцом постмышления 90-х в России. Обе они демонстративно отказываются от того, что в классическом мышлении называлось Системой. Рассмотрим это подробнее.

Первая — «Деконструкция и деструкция» — это серия² бесед-интервью, на темы, едва-едва объединенные чем-то общим. Собственно, ничем не объединенные, кроме самого жанра — «беседы с философами».

В предисловии М. К. Рыклин пишет, что его задачей было спросить собеседников о том, «о чем их спрашивают молчаливо» (с. 23). Собственно, и я ждал от книги вопрошания о том, о чем в книгах визави Рыклина не мог прочитать, о каких-то подробностях и даже мелочах, о которых в философском тексте прочитать невозможно (блестящий пример подобной беседы — разговоры Дувакина с Бахтиным³). Но «Деконструкция и деструкция» построена по-другому. На мой взгляд, книга располагается между двумя типами высказываний.

1. «Уточняющие вопросы» — «правильно ли я понял, что в вашей категории вы стремились выразить то-то и то-то». На эти вопросы философы отвечают со всей тщательностью и серьезностью, но эти ответы все равно остаются безнадежно *избыточными* по отношению к их книгам, поскольку самой формой не очень длительной беседы они обречены на фрагментарность. То есть с одной стороны вопросы/ответы этого типа слишком «техничны» для свободной беседы, с другой стороны, они слишком поверхностны на фоне мощных концепций, развитых в книгах.

2. «Внешние» вопросы М. К. Рыклина — «речь идет, прежде всего, о “готалитаризме”, советском опыте и Терроре» (с. 23). На эти вопросы тоже даются старательные и серьезные ответы, но и они остаются безнадежно «случайными». — Более-менее периферийные проблемы философы в крупных

² Книга удивительно точно совпадает с границами десятилетия. Первая беседа состоялась в феврале 1990 года, последняя — в ноябре 2000-го.

³ Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996.

работах указывают как свои ограничения или перспективы. Встречаясь же с вопросом о соотношении советского опыта с деконструкцией (или шизоанализом и т. д.) они вынуждены ограничиваться вежливыми замечаниями: да, это наверняка дико интересно, но мне надо сто раз подумать, прежде чем отвечать на такой неожиданный вопрос.

Проход между этими Сциллой и Харибдой не кажется мне невозможным. Какого-то выхода из замкнутости между поверхностной техничностью и глубокой чуждостью я и ожидал, когда с нетерпением открывал книгу. Например: от подобного жанра ждешь вопросов на первый взгляд может быть даже «глупых», типа того «чай или кофе вы пьете перед работой?». Или: «как родители отнеслись к вашему решению стать философом?». Такие вопросы, при всей их необязательности, с одной стороны касаются самой сути жизни собеседника, с другой же — они категорически отсутствуют в философских текстах. А эта тонкая диалектика близи/дали и дает шанс (но только шанс) выйти на уровень проговаривания того, что вечно остается непроговариваемым.

Кстати, подобного рода вопрошания не означают перевода беседы в интервью (эти жанры Рыклин рефлексивно различает как «беседа на равных» и «интервью с мэтром»). Поскольку вопрос типа «приглашал ли Учитель вас к себе на воскресные обеды?» может предваряться или последоваться ответом на этот же вопрос себе.

Есть, конечно, и еще один вариант беседы: когда сказанное не комментирует и не конвоирует написанное вне ее рамок, а является сотрудничеством и сотворчеством здесь и сейчас. Но этот вариант вообще крайне редкий и почти невозможный по объективным причинам для любого. Да и М.К. Рыклин по всей видимости не ставил перед собой такой задачи.

Впрочем, разговор может быть построен по множеству самых различных моделей и автор вправе выбирать свою модель. Я только хочу сказать, что модель, выбранная в данном случае, мне показалась откровенно неудачной: она не затрагивает ни существенно-важного (вряд ли «Деконструкция и деструкция» добавляет что-то непременно-необходимое к корпусу текстов собеседников Рыклина), ни интимно-непроговариваемого (российский философ не стремился задавать *такие* вопросы). И в данном смысле эта книга представляется мне просто разочаровывающей (я отдаю себе отчет во всей субъективности такой оценки).

И все же: во-первых, ее удача в том, что с человеком, начинавшим думать по-русски в СССР теперь разговаривают в лучших философских домах Европы и Северной Америки; во-вторых, неудача крупной фигуры, каковой является М.К. Рыклин, тоже важна для диагностики и текущего момента и перспектив.

«Пространства ликования» следующая книга. Это ряд по большей части небольших эссе (по большей же части уже публиковавшихся прежде в журналах и сборниках статей) собранных под одной обложкой⁴ и объединенных несколькими сквозными темами: теория тоталитаризма (различие тоталитаризма

⁴ Скептик (или циник?) предположил бы, что автор собирает свои газетные эссе просто потому, что не пишет «серьезных» — «толстых» — исследований, а книги ученому публиковать то надо, вот и выходит сборник перепечатанных газетных вырезок — случай хронически повторяющийся сегодня у различных авторов. Но нет, такого предположить нельзя. А следует

литаризмов Третьего Рейха и СССР); советский феномен; архитектура как выразительница общественных сознания и бессознательного; анализ текстов Бенямина, Хайдеггера, Ясперса и еще ряда фигур и множество попутных тем, всплывающих по ходу дела.

Книга крайне любопытна тем, что внимательному читателю в этом вольно организованном текстовом пространстве постоянно бросаются в глаза высказывания и формулировки, достойные войти в любой цитатник по постмодернизму. Просто приведу некоторые из них (курсив везде мой).

«В борьбе условностей, какими являются социальные системы, не следует прибегать к слишком сильному аргументу *ad realitatem*; это... проявление логоцентризма» (с. 10).

«Поэтому исчезновение СССР не могло не вызвать интеллектуальный кризис: исчезло огромное *театрализованное пространство*, на которое проецировались самые смелые упования, самые радикальные формы неприятия буржуазности» (с. 18).

«*Мир насилия* так же безжалостно дифференцирован, как и любой из логоцентрических миров; он *представляет собой продолжение логоцентризма другими средствами*, отчаянную попытку логоса преодолеть собственную недостаточность» (с. 19).

«Из большей устойчивости одних обществ вовсе не вытекает их привилегированное отношение к реальности (чье *принципиальное отличие от вымысла, фикции* и т. д. не должно браться как нечто самоочевидное; оно нуждается в доказательстве» (с. 24).

«...Излишне повторять, что имя “Сталин” не зависит от человека по имени Сталин, не является его атрибутом: *Сталин-человек есть лишь один из модусов существования собственного имени*» (с. 91).

«В конечном счете он [Бенямин] понял *материальность языка как первоакадемическую*, далеко выходящую за пределы экономического, психического, художественного начала» (с. 156).

«*Революцию всегда уже совершил тот, кто дал вещам их изначальные имена*; но не менее важно уметь их, собрав, прочесть» (с. 157).

«Но никто, увы! не прост сам по себе. *Простота — одна из литературных конструкций*, и прост только тот, кто ей случайным образом соответствует» (с. 158).

«Нескомпроментированная утопия — это неосуществимая утопия, которую логично отождествить с *чистой текстуральностью*» (с. 176).

«Факты для него [Хайдеггера] — *это не то, что было, а то, что он способен помыслить* и вынести в качестве таковых; остальное — сфера фактичности для других, ему недоступная» (с. 218).

предположить, что автор видит смысл именно в таком подходе к исследованию — в серии фрагментов и набросков, едва объединенных подобием сквозной темы. Но это в свою очередь очень логично для постмодерниста-постструктуралиста — если «единой здравосмысловой реальности не существует» то как возможна подробная и связанная, крупная и цельная книга? Статьи честно приведены без всяких изменений — врезка о Гегелевском анализе архитектуры (от которого отталкивается М.К. Рыклин в своих размышлениях об архитектуре) повторяется раз пять. Честность в том, что не сделано никакой попытки связать различные эссе в целое, тогда не пришлось бы повторять пять раз одно и то же, но пришлось бы серьезно переработать корпус своих текстов. Но ведь воля к цельности отсутствует принципиально и осознанно. Значит это *прием*, а не слабость.

Хотя вышеупомянутый скептик (или циник?) задумался бы — отсутствие воли к цельному и скрупулезному исследованию является ясным осознанием того, что «классическая книга невозможна»? Или личная слабость автора заставляет видеть окружающее в категориях фрагментарности и отсутствия «здравосмысловой реальности»?

«Все упирается в конечном счете в то, признаем мы или нет существование некоей общей системы координат, называемой реальностью. Главные допущения сторонников тоталитарной теории: реальность существует в единственном числе; она является здравосмысловой; любое отклонение от нее порождает фикцию, вымысел, ирреальность, которые занимают место реальности незаконно и поэтому упраздняются ей» (с. 22).

Здесь стоит задержаться, потому что, действительно, «все упирается в это». Мысль М.К. Рыклина, насколько я ее понимаю, такова. Теория тоталитаризма, объединяющая Третий Рейх и СССР, исходит из того, что объединяет их именно выпадение из канона западной рациональности. Неважно, в какую «сторону» произошло выпадение — субстанционально оба режима именно в этом своем уходе от традиционной рациональности совпадают.

Возражение Рыклина состоит в следующем: данная теория неверна, поскольку единой реальности, тем более реальности «здравосмысловой» вообще не существует (парафраз Лакана). Не просто у Третьего Рейха и СССР у каждого была своя «реальность» (что и делает их принципиально несводимыми), но и вообще реальностей сколько угодно много; или по крайней мере не меньше, чем языковых игр, как раз и генерирующих эти «реальности»⁵.

(Надо сказать, забегая вперед, я тоже с теми, кто считает Третий Рейх и СССР принципиально разными феноменами. Но разными не потому, что сморгнув, я каждый раз имею перед глазами (вернее, в языке) новую «реальность», а потому что реальность *сама в себе* сложна и противоречива. И эта тектоническая толща реальности именно в силу своей предельной сложности порождает внутри себя самой такие принципиально разные социально-экономически, культурно и исторически явления как Третий Рейх и СССР. Но оттого, что реальность способна содержать в себе такие гетерогенные феномены, она не перестает быть единой, объективно познаваемой и преобразуемой исторически прогрессивным классом.)

Возвращаясь к книге в целом — несмотря на такие яркие особенности (а может быть как раз благодаря им) книга по прочтении оставляет странное ощущение. О чем она? — вынужден был я спросить себя, когда закрыл ее. О тоталитаризме? О советском феномене? О Бенъямине, о письме, о языке, о Рыклине? Ни одна тема из затрагиваемых в книге не разрабатывается сколько-нибудь подробно. Всякий раз проблема упоминается по контексту и оставляется как угодно долго до следующей okazji. Альбом вырезок на память, гербарий засохших цветов ушедшего лета. Как скетч каждая отдельная статья не лишена смысла и даже блеска — но все вместе они производят удручающее впечатление. Как если бы человек много раз с блеском и чувством объяснял женщине в любви, а потом всякий раз уезжал на неопределенно долгий срок в другой город, не доходя каждый раз ни до ЗАГСа, ни до первой брачной ночи.

⁵ Во всей книге есть только две отсылки к реальности социальной — пронизательное замечание о том, что гипертрофированное внимание к метрополитену в СССР было связано не в последнюю очередь с неразвитостью личного автотранспорта; и несколько раз повторяющееся указание на принципиальную важность коллективизации сельского хозяйства для советского феномена.

И я задаю себе вопрос: почему эти книги вызывают такое неудовлетворение? О чем они, в конце концов? ЗАЧЕМ они?

Любая эссеистика, любая очерковость имеют смысл в перспективе стратегического, как одна из его граней. Такого понимания нет у постмышления. Да и какая стратегия может быть после «конца всего, даже истории»? Стратегия ускользания от стратегии?

Эти недоуменные вопросы, возникающие у читателя (не думаю, что только у меня), означают, что книги Рыклина не могут быть поняты изнутри, имманентно. К ним надо подойти с внешней стороны, со стороны социально-экономической и политической истории советского/постсоветского интеллектуала, начиная с конца 70-х и до 90-х гг. 20 века. (Нельзя сказать, что у марксизма есть ответ на все стратегические вопросы. Но у него по определению (если это не просто левая фраза) есть понимание необходимости такой стратегии.)

Сначала я остановлюсь на автохтонных процессах (пост)советской истории последних 15 лет, а потом обращусь к книге Сокала и Брикмона, где как раз дается более широкий анализ постмодернизма уже, так сказать, в общемировом масштабе.

Исторически поражаясь

Говоря о политическом и социальном основании и фоне русского постмодернизма, прежде всего нужно отметить: *распространившиеся в 90-х гг. в России постмодернистские представления о релятивизме методов и теорий познания вкупе с постмодернистским представлением о текучести и относительности типов реальности явно и четко связаны с социально-экономическими и политическими реалиями России 90-х – декады релятивизма типов собственности вкупе с текучестью форм власти.*

90-е в России это эпоха тектонического слома, смены одной социально-экономической формации — другой; перехода/возвращения от социалистического бюрократизма к капиталистическому способу производства.

Понятно само собой, что это крайне сложный и противоречивый внутри себя процесс. В исторической динамике десятилетия — это ход вперед; в исторической динамике столетия — назад. Внутри этого гиперпроцесса есть бесконечное множество частных течений, каждое из которых идет в своем ритме и по своим единицам измерения.

На этот гиперпроцесс, кроме того, удивительным образом наложена гетерогенность возвращающегося в Россию капитализма: местами это дикий архаический капитализм, местами поздний (позднее некуда) капитализм консюмеризма и информационного общества. И это еще не все: сюда надо включить тот в буквальном смысле слова бум информационно-цифровых технологий (базисный процесс, процесс из экономического базиса), который мы переживали в 90-х и переживаем до сих пор. В 90-м году научный работник не знал ничего, кроме пишущей машинки и ксерокса. Сегодня я, закончив эту статью и находясь в библиотеке, перешлю ее редактору из карманного компьютера по и-мейлу, воспользовавшись в качестве модема мобильным телефоном с инфракрасным портом. Потом с помощью этих же дивайсов посмотрю свою свежую электронную почту и загляну в WWW.

В полном соответствии с законом соответствия в конечном счете процессов в надстройке — процессам в базисе, эти головокружительно сложные и головокружительно же противоречивые социальные события не могли не стать пресловутой питательной почвой на которой взросли цветы зл... извините, цветы постмодернизма.

Здесь срабатывает и классический марксистский классовый анализ. Та центральная и самодержавная роль, которая отводится в теориях постмодернистов *языку*, является отличительной и типической чертой (признаком) «класса интеллектуалов». Кавычки здесь нужны, потому что согласно классическому определению «социального класса», интеллектуалы не являются таковым, поскольку не находятся в том или ином специфическом отношении к средствам производства. И все же — подобно тому, как крестьянскому классовому сознанию весь мир представляется вращающимся вокруг его земельного участка в ритме сезонов сельскохозяйственного процесса труда, так интеллектуалу — жителю библиотек и университетских аудиторий — весь мир представляется гигантской языковой/текстовой конструкцией. То есть по объективным социальным основаниям происходит *гипостазирование языка* (об этом подробнее еще пойдет речь ниже).

И точно так же как крестьянское классовое сознание объективно является ограниченным и пассивным (обратная сторона чего — беспощадный бунт), так и язык, превращенный из *метода* и *средства* в самоцель и самодержца становится тем, что отчуждает человека от его страны, истории, будущего и даже от себя самого.

Именно в этом причина следующего характерного признака интеллектуальной истории России 90-х, а именно поразительного и скандального молчания (и еще — красноречивого молчания) интеллектуалов-постмодернистов на всем протяжении 90-х⁶ о важнейших проблемах исторического момента, момента, значение которого невозможно переоценить.

И в заключении этого беглого анализа социальных корней постмодернизма в России расширим историческую перспективу. Итак, постмодернисты 90-х уходят в текст/язык и демонстративно молчат о социальных бурях, которые сначала вырывают у них из рук бутерброд с колбасой, а потом и саму социальную почву и — подобно Элли с ее убивающим домиком из сказки о волшебнике Изумрудного города — приземляют уже в другой стране, другой России.

Предположение состоит в том, что данный разрыв между вопиющей очевидностью социальных потрясений и красноречивым и абсолютным молчанием об этом интеллектуалов коренится в Петровской эпохе (исследования по социальной истории покажут нам корни и Петровских реформ, конечно), когда общество оказалось расколото на две части, две экономики, два образа жизни, даже два языка: на ничтожное меньшинство — европейски образованное и экономически обеспеченное — и огромное большинство, лишенное прав, образования, участия в управлении, голоса, земли — всего.

Кстати, непреходящее всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции состоит хотя бы в том, что на несколько лет эта пропасть была преодолена и огромное большинство полуци-

⁶ Молчания, которое лишь подчеркивалось бесконечным газетным бла-бла-бла умников на неделю.

ло почти все, чего было лишено всегда. Поэтому же Октябрьская революция не была никаким «провалом», «затмением», «мороком», а в точности наоборот — первым в глубинном смысле гармонизирующим явлением русской (и мировой) истории. После этого пролога и вступления действие было прервано — ну что ж, не стоит забывать, что и буржуазные революции победили не с первой попытки.

И последнее в этой связи — уже к концу 20-х гг. 20 века эта пропасть снова разверзлась, чтобы принять в последние десятилетия СССР форму разлома между вольнодумством кухонной вседозволенности и лживым верноподданничеством публичных пространств. А эти десятилетия — бэкграунд (пост)советских интеллектуалов. Похоже, там и так круг и замкнулся и разорвать его в 90-х не хватило не то что сил, но и самого понимания такой необходимости. (Отсюда неоднократная ссылка Рыклина на замшелое отождествление большевизма и сталинизма, социализма и тоталитаризма.)

Можно еще сказать — постмодернизм с его гипостазированием языка и сверхусложнением текста — это конец большого исторического цикла (своеобразный декаданс); это повторение темного языка досократиков. Но в той мере, в какой досократикам наследовали Сократ, Платон, Аристотель, здесь есть окончание, дающее основание началу, есть отчаяние, в котором коренится новая надежда. Это универсальный закон: история несет в себе не только порабощение, но и предпосылки освобождения.

«Интеллектуальные уловки»

У книги Сокала и Брикмона любопытная история. Ее автора — два ученых-физика. Брикмон профессор физики из Бельгии, Сокал — из университета Нью-Йорка. Алан Сокал однажды устроил такой эксперимент: опубликовал большую статью в стиле «постмодернистской науки» в журнале «Social Texts». Статья содержала высказывания вроде: «физическая “реальность”, точно так же как и “реальность” социальная, является лингвистической и социальной конструкцией»⁷ и «число π Эвклида и сила притяжения G Ньютона, которые до сих пор считались постоянными и универсальными, теперь должны рассматриваться как исторически преходящие».

Статья была встречена «на ура» и опубликована. Позже Сокал выступил с разоблачениями своей шутки и ее комментариями.

Кроме самой вышеуказанной статьи и комментария к ней книга Сокала и Брикмона содержит персональный разбор обращений постмодернистских авторов (от Лакана до Иригарей и Вирилио) к естественным наукам и еще несколько статей, где поднимаются другие — в частности, политические — аспекты постмодернизма в его связи как с наукой вообще, так и с левым движением (преимущественно в Соединенных Штатах).

Надо сказать, что «имманентная» критика Сокалом и Брикмоном постмодернистских авторов не показалась мне особенно убедительной. Эта критика представляет собой пространные цитаты мест, касающихся естественнонауч-

⁷ Ср. у Рыклина: «В борьбе условностей, какими являются социальные системы, не следует прибегать к слишком сильному аргументу *ad realitatem*; это... проявление логоцентризма».

ной проблематики у критикуемых авторов и использования ими в качестве концептов или метафор некоторых естественнонаучных понятий и теорий (теорема Геделя, теория множеств, общая теория относительности и т. п.).

Почти всегда критика Сокала и Брикмона заключается в том, что после развернутой цитаты следует риторический вопрос: «Разве не очевидно, что это просто набор слов, не имеющий отношения к теореме Геделя (теории множеств и т. д.)?»

Нет, не очевидно. *Внутри* постмодернистского письма его высказывания включены в общий его строй и в этом смысле корректны. Внутри текста Лакана его высказывание «Структура — это асферическое, скрытое в языковой артикуляции, когда ею завладевает эффект субъекта» не кажется мне бессмысленной. Поскольку главным приемом постмодернизма является борьба с системой и гносеологический релятивизм, то предъявлять ему имманентную критику с позиций строгой научной системности и последовательности просто непродуктивно — он или легко «отклонится» от нее или просто включит в себя на правах еще одного атома в этом броуновском облаке высказываний и теорем.

Слабая сторона книги Сокала-Брикмона, на мой взгляд, в попытке переиграть или уличить постмодернизм на его поле; это явно безуспешно. Как герметичный феномен, постмышление не поддается имманентной критике (это все равно, как спрашивать у художника — а что вы имели в виду своей картиной?). Ввиду замкнутости на себя самого, постмодернизм является *эстетизацией* гносеологии со всеми присущими эстетизации как достоинствами (блеск и соблазнительно-мобилизующая сила), так и недостатками (эвристичность, не применимая вне его собственных границ).

Обратной стороной этой герметичности является использование категорий и теорий постмодернизма (постструктурализма) в качестве объясняющих что-либо вне его собственной области.

Отступление. Об уважении к постмышлению

Я хочу быть понятым правильно. Я с уважением и восхищением отношусь к творцам постмышления и являюсь их прилежным читателем. То, против чего я возражаю, это *использование в качестве объясняющих тех категорий, которые сами еще должны быть объяснены.*

Постмодернистская (постструктуралистская) философия (в отличие от «постмодернистской науки») является последним на сегодня достижением 2,5-тысячелетней истории западной философии, или, по крайней мере, очень значимой ее ветви. И если не высшим ее достижением — понятие прогресса даже с марксистской точки зрения следует осторожно применять в историко-философской науке — то таким ее достижением, которое впитало всю предыдущую традицию (работы Делеза по истории философии лишь самое зримое воплощение этой связи) и неразрывно с нею связано.

Но в силу самой «свежести» постмышления буквально все его категории не приобрели той самоочевидности, которая необходима для их использования без того, чтобы сказав «машины желания» не объясняться все оставшееся время, что имелось в виду.

Понятие, скажем, «идея» или «парадигма» я могу применять с надеждой, что у мало-мальски подготовленного читателя они вызовут более-менее сходный с моим и нужный мне ряд определений и коннотаций (и даже это ничего еще не гарантирует.)

Но когда я читаю о «деконструкции советского опыта» я оказываюсь бес-силен отнестись к этому построению рационально. И «деконструкция» еще не самый показательный пример, благодаря поражающей продуктивности Деррида, его школы и его подлеска. (Хотя и здесь применение деконструкции к социальности выглядит как гигантская проблема, а не как мало-мальски внятное объяснение.)

А ведь в качестве готовых к эвристическому употреблению блуждают еще менее очевидные понятия: *логоцентризм, тело без органов, симулякр* etc. — имя им легион.

Все эти понятия требуют гигантской интерпретативной работы целых, быть может, поколений. Повторюсь: они сами еще проблема (и подчерк-ну — интереснейшая проблема), они сами еще должны быть объяснены. А пока их применение в качестве объясняющих может быть только эстетической, эстетизацией высказывания. Их применение, по моему мнению, валидно сегодня только в узкой области узкого же подраздела историко-философской науки. Вне этих рамок их появление достойно самого придиричивого скепсиса.

Конечно, такое становление философских понятий «модой» в широких кругах читателей есть явление исторически не новое, даже постоянное. Поражает другое: сегодня этой модой поработаны не только «широкие круги читателей», но и специалисты!

Конечно, глупо было бы требовать чтобы читатели, скажем, Гегеля (или Канта, или любого другого философа) покорно ждали пару-тройку десятилетий прежде чем стать гегельянцами и начать продуктивно мыслить в категориях гегелевской философии (хотя в случае Канта понадобился век, чтобы школярское кантианство дало неокантианцев).

И все же именно в деле постмодернизма мы можем, пожалуй, согласиться с таким требованием — требованием воздержания. И вот почему: вплоть до появления постструктурализма любой философ претендовал на то, чтобы дать своим адептам Метод и Систему (за исключением крайне значимых, но все же маргинальных течений — например, нищезанства; вот почему Ницше критически важен для постмодернистского феномена).

Понятно поэтому, что философы, рискнувшие на попытку мыслить вне-системно (не без-системно!), должны согласиться с требованием воздержания, если, конечно, они не боятся сокрушительной профанации. Я думаю, что какая-то форма понимания этой проблемы присутствует у всех классиков постмодернизма: вот почему они не заимствуют категории коллег по постмышлению и живут каждый в своем персональном категориальном здании. Но это, с другой стороны, еще один аспект самозамкнутости и герметичности и, следовательно, а-эвристичности (так возвращается вытесненное — ха, ха).

Возвращение вытесненного

Кстати. Вытесненное возвращается и не только так. Другой путь возвращения мы видим в русском постмодернизме. Это появившийся интерес к теме (авто)биографии. Такова моя гипотеза: *появление и даже некоторый «расцвет» тематики автобиографии — это возвращение вытесненной внешней (социально-политической) реальности.* И в полном соответствии с классикой психоанализа («возврат вытесненного — это процесс, при котором вытесненным, но сохранившимся при этом элементам удается появиться вновь, хотя и в искаженной, компромиссной форме» Лапланш, Понталис) возвращение вытесненного социального измерения происходит именно в компромиссной форме. Потому что автобиография, соединяя внутреннюю историю и внешний ход событий, как раз и есть компромиссная форма внимания к *внешнему*.

В книге «Пространства ликования» тема биографии и автобиографии представлена вполне широко (хотя на первый взгляд это могло бы показаться странным, добавляющим пестроты в эту и так неоднотонную книгу). Книга начинается с рассказа о биографии матери автора и заканчивается пересказом и анализом нескольких снов М. К. Рыклина — собственно, получается, что (авто)биография выступает *рамкой* книги. Хорошо соотносима с автобиографизмом и книга «Деконструкция и деструкция. Беседы с философами».

(Надо вспомнить, кто в очередной раз первым ввел понятие «автобиография» в актуальный словооборот. Кто истинный *idea maker*, чьи категории приобретают объясняющую силу для других⁸? В конце 80-х — «тело» (тоже, кстати, компромиссный вариант внимания к внешнему), в конце 90-х — «автобиография»⁹ — и вот тема биографизма расходится все шире и шире, захватывая и две последние книги Рыклина. Заметьте, я не говорю о заимствованиях, я говорю — если продолжать водную метафору, начатую «пузырями дискурса», — о кругах на воде, которые закачали и М. К. Рыклина.)

Анализ снов тоже симптоматичен — а чем же еще он может быть как не исследованием симптомов? Мое внимание привлек первый из снов — «сон о Сталине» (с. 265–267). Его фабула — пир, сладости, рассказ Сталина о том, какие сладости и почему он любит; «ни на какую политику нет и намека: у вождя и его свиты на уме исключительно дегустация сладостей».

Интерпретация «автора сна» исключительно внешняя, культурная. Согласно данной интерпретации — это сон о «сладком восприятии Сталина»; о мемуарных свидетельствах страсти Сталина подпаивать гостей; о власти, которая ценнее еды; о Гитлере, который в последние дни войны объедался пирожными; об обожании вождя через обожание обжорства; и даже о логи-

⁸ В. А. Подорога.

⁹ Возникает соблазн попытаться социологически проинтерпретировать эту траекторию: от тела к автобиографии. Вот вариант: если анализ «тела» соответствует периоду социальных сдвигов, то анализ «автобиографии» соответствует подсознательному ощущению проигранности интеллектуалами-постмодернистами десятилетия 90-х. И, далее, соответствует вытесненному желанию перепродумать прошлое. Но эта ре-концептуализация осуществляется (вечное возвращение порочного круга) как анализ автобиографического текста или места автобиографического письма в других системах письма или других секторах надстройкой.

ке коммунизма — «через мириады малых эксцессов реализуется великое пустотное желание, в центре которого стоит вождь».

Но любой сон любого из нас — это сон о самом сновидце, о том, кто видит этот сон, поэтому он и стал одним из главных инструментов исследования субъекта и терапевтического воздействия на субъекта в классическом психоанализе; иначе мы могли бы по нашим снам изучать не то, как к нам в детстве относились родители, а то, как себя перед смертью вел Гитлер, например.

То есть это сон Рыклина о Рыклине — но это проявляется только как оговорка, как пара фраз среди массивного вороха глубоких культурологических интерпретаций: «Это также сон о еде. Я не очень успешно пытаюсь контролировать свой аппетит, в частности, есть поменьше сладкого»¹⁰. Понятно, что «на самом деле» это сон о тревоге Рыклина по поводу контроля аппетита — но это проясняется только как *оговорка* и тут же *вытесняется* целым рядом внешних личности сновидца интерпретаций — демонстрируя репрезентативный набор психоаналитических симптомов.

Почему я говорю о снах Рыклина в этой статье, где речь идет о социальных корнях постмодернизма? Потому что здесь ставкой — проблема соотношения структуры и субъекта (о ней подробно будет говориться ниже); потому что «психоаналитический театр» снов точно симметричен тому «театрализованному пространству» каким видится постмодернистам общество, социум. Во сне — в сновидческом мышлении — вытесняется личное и предстает социальным, внешним. Точно также, только симметрично наоборот, во вне сна — в бодрствующем мышлении — вытесняется социальное и замещается интимным, личным, субъективным — о субъективизме постмышления уже говорилось выше и еще будет говориться.

Не побоюсь еще раз повториться: речь не о «слабостях» конкретного человека. Автор рецензируемой книги совсем не слаб и без сомнения является одним из ведущих представителей современной русской философской мысли. Но именно поэтому надо быть так внимательным к его книгам. Поэтому меня интересует не столько то, почему на индивидуальном уровне социальное вытесняется в сны, а каковы социальные корни такого вытеснения на уровнях массового сознания.

Но вернемся к книге Сокала и Брикмона. Мы остановились на том, что анализ постмодерна «изнутри» не является сильной стороной этой книги. И в очередной раз объяснение феномену постмодернизма надо искать в его внешней истории — сильная сторона книги Сокала и Брикмона как раз в том, что в ней содержится такое объяснение.

«И какова роль политики во всем этом?» (Сокал-Брикмон)

В своем анализе политических оснований постмодернизма Сокал и Брикмон исходят из следующего неожиданного и парадоксального факта. С одной стороны, постмодернизм с его абсолютизацией релятивизма и критикой объективности противостоит рационалистической традиции мысли

¹⁰ Насколько я понимаю, это замечание относится все-таки к самому бодрствующему Рыклину, а не к персонажу его сна, не к тому, каким Рыклин видит себя во сне.

с ее опорой на науку, противостоит традиции, на которую всегда опирались левые.

С другой стороны, именно среди левых в США постмодерн триумфально распространился. Сокал цитирует правого политика Гавела, но под его словами мог бы подписаться любой постмодернист:

«Падение коммунизма можно рассматривать как знак того, что современная мысль — основанная на предпосылке, что мир объективно познаваем и что знание, полученное таким образом, может быть предельно общим — переживает финальный кризис» (с. 162).

Сокал и Брикмон резюмируют:

Существование такой связи между левыми и постмодернизмом составляет, на первый взгляд, серьезный парадокс. В течении большей части двух последних столетий левые самоопределялись в ходе битвы науки с мракобесием: они решили, что рациональное мышление и объективный анализ природной и социальной реальности являются основными инструментами для победы над мистификациями, — тем не менее действительно привлекательными, — которые распространялись властью предрасположенными. Но в течении последних двадцати лет большое число левых интеллектуалов, особенно в Соединенных Штатах, отвернулись от этого наследия Просвещения и примкнули к той или иной форме когнитивного релятивизма¹¹» (с. 163).

Авторы указывают на три типа интеллектуальных и социологических источников триумфа постмодернизма в среде левых.

1. Новые социальные движения.

Родившиеся в 60-е гг. движения феминизма, защиты прав гомосексуалистов, движение против расизма боролись против тех форм угнетения, которые недооценивались традиционными левыми.

И в силу этой недооценки, и в силу того, что философия постмодернизма по видимости подводит серьезное основание под политику *различия*, обосновывая уважение к другим культурам и образам жизни, так вот, по этим двум причинам новые социальные движения пришли к выводу, что та или иная форма философии постмодернизма адекватно отвечает их чаяниям.

Авторы проницательно указывают, что то был стратегически неверный ход (и я думаю, что время подтвердит выводы Сокала и Брикмона):

- а. субъективизм и переусложненность постмодернизма труднее обосновать, чем сами права гомосексуалистов или женщин;
- б. эти же неясность и субъективизм интеллектуально ослабляют опирающиеся на них движения;
- в. итак, «новые социальные движения» могут найти для своих законных требований более твердое основание в широкой демократической и рациональной традиции эгалитаризма, идущей из Просвещения» (с. 164).

2. Политическое отчаяние.

Расцвет постмодернизма пришелся на 70-90-е гг. 20 в. — на самую низкую точку спада левого движения: обуржуазивание социал-демократии, апатия в странах Третьего мира, крах «реального социализма».

¹¹ Именно *этих* левых и гнобят сегодня в США.

Для описания такого политического отчаяния Сокал и Брикмон приводят цитату из Хомского, слишком блестяще подходящую и для описания наших 90-х, чтобы не привести ее целиком. Хомский пишет об отчаянии, как об отказе от обсуждения серьезных вопросов:

Если вы говорите себе: «да ладно, слишком трудно изучать серьезные проблемы», есть множество способов избежать этого. Один из них – гоняться за химерами, не имеющими реального значения. Другой способ сделать это заключается в том, чтобы присоединиться к академическим культам, отрезанным от всякой реальности и позволяющим не сталкиваться с миром, каков он есть. Это частое явление, включая и левых. Во время поездки по Египту несколько недель тому назад я видел удручающие примеры. Я должен был говорить о международных проблемах. Там очень живое и образованное интеллектуальное сообщество, очень мужественные люди, отсидевшие годы в тюрьмах Нассера, замученные почти что до смерти, и вышедшие оттуда, продолжая бороться. Но теперь в третьих странах в целом преобладает безнадежность и отчаяние. В местной образованной, имеющей связи с Европой, среде это проявлялось в полном погружении в последние безумства парижской культуры и концентрации исключительно на них. Например, даже в исследовательских институтах по стратегическим проблемам, когда я рассказывал о современной ситуации, слушатели хотели, чтобы все излагалось на жаргоне постмодерна. Вместо того, чтобы расспрашивать меня подробнее об американской политике или о Среднем Востоке, месте, где они живут, – это казалось слишком грязным и неинтересным – они хотели знать, как современная лингвистика строит новую парадигму дискурса о международных отношениях, который заменит постструктуралистский текст. Их интересовало это. Совсем не то, что открывали израильские правительственные архивы в области внутреннего планирования. Это, действительно, гнетущая ситуация (с. 164–165).

(Как раз отчаяние сегодня быстрее всего уходит в прошлое. Движение антиглобализма, и не только оно, ясно показывает, что возможно то, что казалось в эпоху позднего капитализма – эпоху многим представляющуюся временем полного обморока в интерактивных сетях Матрицы – невозможным: а именно массовая мобилизация снизу миллионов людей.)

3. *Наука как доступная мишень* – «в этой атмосфере общего отчаяния можно попробовать бороться с чем-то, что достаточно тесно связано с господствующей властью, чтобы не вызывать симпатии, но достаточно слабо, чтобы стать более или менее достижимой мишенью (концентрация власти и денег – вне досягаемости). Лучше всего отвечает этим условиям наука... Все те, кто обладают политической или экономической властью, предпочли бы критику науки или технологии как таковых, так как эта критика способствует созданию культа властных отношений, в которых нет ничего рационального, но на которых зиждется власть» (с. 165, 166).

В общем, для Сокала и Брикмона – как для левых – постмодернизм имеет следующие негативные последствия:

– «сосредоточение на языке и элитарность, связанная с употреблением претенциозного жаргона, способствуют тому, чтобы загнать интеллектуалов в рамки стерильных споров и изолировать их от общественных движений, которые происходят за стенами их башни из слоновой кости»;

– «стойкое существование путанных идей и невразумительных рассуждений среди определенной части левых может дискредитировать все левое движение; и правые не упускают случая демагогически воспользоваться такой возможностью» (с. 170).

И наконец: «В тот час, когда мракобесие и националистический и религиозный фанатизм чувствуют себя замечательно, по крайней мере безответственно обращаясь с легкостью с тем, что исторически было единственным заслоном перед этим безумием, а именно рационалистическое мировоззрение. Содействие мракобесию наверняка не является задачей постмодернистских авторов, но оно является неизбежным следствием их деятельности» (с. 169).

А что в Европе?

Анализ социальных и интеллектуальных корней постмодернизма был бы вполне неполон без обращения к послевоенной ситуации в Западной Европе — Родине постмодернизма во всех смыслах.

Такой анализ дается в крайне важной и интересной книге — Перри Андерсон, «Размышления о западном марксизме».

Судьба этой книги тоже любопытна. Написанная в период с середины 70-х по 1983 г., она была переведена на русский и издана еще в 1991-м. Но, написанная с последовательно марксистских позиций, кому она была интересна в том году? (Я прекрасно помню ее обложку с того самого 91-го года и помню как годами проходил мимо в магазине и мне ни разу не пришлось в голову даже заглянуть в нее.)

Для «марксистов» советской сталинистской закваски (которые тогда уже вовсю катились к религиозному обскурантизму и черносотенству) она была слишком «западной». Для «западников» тех лет — невыносимо «марксистской» в период наименьшего интереса к марксизму. Так что прочитана она если и была, то в крайне узких кругах тех немногих, кто избежал обеих ловушек.

Но читая ее сегодня, поражаешься насколько она не потеряла своего значения (и даже, наконец, приобрела свое значение) сегодня, когда с возрождением аутентичных левых мы должны понять прожитый исторический период. Законченная в 1983 году, она актуальна сегодня — запаздывание в 20-25 лет — с этим циклом мы не раз встречаемся в русской интеллектуальной истории 20 века.

Прежде всего и сразу надо отметить, что история постмодернизма (сам Андерсон использует понятия «структурализм» и «постструктурализм») для автора неразрывно связана с послевоенной историей марксизма. И дело не только и не столько в марксистской ангажированности Андерсона.

А. Центр постмодернизма в Европе — Франция; в свою очередь, то центральное место, которое в 60-е годы занял во Франции структурализм, прежде было занято марксизмом (поэтому французские структуралисты конца 50-х и начала 60-х называют себя марксистами или по крайней мере уважительно ссылаются на Маркса)

Б. Структурализм формируется сначала на фоне марксизма, а потом в полемике с ним. По Андерсону вообще — их «объединяет» (разъединяя¹²) общая центральная проблематика: «в сущности, это проблема взаимоотно-

¹² Практика философии означает «осознание того безжалостного исходного факта, что философия разделяет. Если наука объединяет и объединяет без разделения, то философия разделяет и объединять может только посредством разъединения». L. Althusser. *Lenin and Philosophy*. N.Y., 2001, p. 13.

шений между структурой и субъектом в человеческой истории и обществе» (с. 178).

Следовательно, понять интеллектуальные корни и ветви постмодернизма невозможно без понимания интеллектуальных корней и ветвей марксизма в совокупности с общей им обоим социальной историей послевоенной Европы.

Социальная история. Прежде чем место марксизма на интеллектуальной сцене могло оказаться занято его конкурентами/противниками, сам марксизм должен был ослабеть. Говоря о социальных причинах такого ослабления Андерсон выделяет следующие факторы:

- движение Сопротивления не смогло после войны сохранить свою интеллектуальную гегемонию;
- сталинизм в СССР в послевоенный период только укрепился;
- произошел глубокий разрыв между практикой рабочего движения (связь с которым всегда была главной силой марксизма) и его теорией – в то время как прежде главнейшие представители теоретической марксистской мысли, от Маркса до Троцкого и Грамши, были ведущими практиками рабочего движения;
- таким образом и наконец, «длительный экономический послевоенный подъем постепенно и необратимо подчинил труд капиталу в рамках стабилизовавшихся парламентских демократий и складывавшегося общества потребления» (с. 161).

На эти внешние, социальные причины кризиса марксизма наложились и *причины внутри-теоретические* (в результате чего нерешенная марксизмом проблема соотношения структуры и субъекта перешла в нераздельное пользование структурализмом и его постструктуралистскими наследниками):

- наличие во Франции мощной компартии, но сталинистского, не допускающего дискуссий типа;
- историческая наука – под влиянием школы «Анналов», далекой от марксизма и вообще не интересующейся проблемой «движущей силы», а ищущей «более глубоких» причин исторических изменений;
- наибольшее философское влияние – у феноменологии и экзистенциализма (Кожев, Гуссерль, Хайдеггер);
- левые мыслители пытаются решить проблему субъекта и структуры в виде синтеза марксизма и вышеуказанных немарксистских течений, в частности, экзистенциализма.

Таким образом, в результате этих внешних проблем и внутренней эволюции

«после длительного периода безраздельного культурного господства французский марксизм, греясь в лучах уже далекого отраженного престижа Освобождения, наконец столкнулся с интеллектуальным противником, способным дать ему бой и взять над ним верх. Победившим соперником был наступавший широким теоретическим фронтом структурализм, а затем и его постструктуралистские преемники. Кризис франко-итальянского марксизма – это результат не случайного спада, а сокрушительного поражения. Доказательство этого поражения, я бы добавил, состоит в триумфальном преобладании структуралистских и постструктуралистских идей и проблем там, где когда-то властвовали марксистские идеи и проблемы» (с. 178).

В результате всех этих причин «в 70-х гг. марксизм скатился на обочину парижской культуры» (с. 185). «Париж сегодня – столица интеллектуальной реакции в Западной Европе, как Лондон 30 лет назад¹³» (с. 177).

Но на этом Андерсон не останавливается и дает наиболее нас здесь интересующую общую картину интеллектуальной конструкции (пост)структурализма.

(Пост)структурализм: на чем он покоится?

Андерсон выделяет 3 важнейших аспекта этого мировоззрения.

1. Преувеличение роли языка.

Эта возгонка происходила от Леви-Строса с его утверждением, что обмен женщинами в архаических обществах происходит по модели языка и вплоть до максимы Деррида: «Ничего нет до текста, нет такого пре-текста, который уже не был бы текстом» («Грамматология»).

2. Ослабление истины.

Шаткому равновесию означающего и означаемого в системе Соссюра «суждено было нарушиться, как только язык был принят за приемлемую для всех случаев модель вне сферы вербальной коммуникации, ибо условием его превращения в “портативную” парадигму было преобразование его в замкнутую самодостаточную систему, уже более не привязанную к какой-либо внелингвистической действительности» (с. 191).

Это привело к исключению возможности истины как соответствия высказывания реальности (отсюда превознесение ницшевского «истина есть иллюзия»). Фуко: «различие между истиной и ложью есть фальсификация». Отсюда пренебрежение к доказательству (например, у Лакана с его 10-минутными сеансами) есть не личный недостаток, а «естественные и нормальные допуски в свободной игре означивания вне истины и лжи» (с. 193).

3. Обеспорядочивание истории.

Итак, языковая модель была помещена в центр метатеории. Но в языке есть неустранимое противоречие между языком и речью. «Существует непреодолимая пропасть между общими правилами синтаксиса и произнесением отдельных высказываний, форма и употребление которых никогда не смогут быть выведены из совокупности грамматики, лексики и фонетики» (с. 194).

Структуралисты же отождествили эти два типа интеллектуальности и подменили «причины» – «условиями возможности». Отсюда их упор не на причины как таковые, а на классификации, примыкания, сходства. Но тем самым История превращается в ряд случайностей – так происходит опрокидывание самих структур и так из яйца структурализма вылупливается цыпленок постструктурализма.

Потому что если в мире субъектов существуют только структуры, то что обеспечивает их объективность? Наиболее радикальный (и в этом смысле последовательный) ответ дает Деррида: предположение о наличии любой

¹³ Написано в 1983 году. А теперь вспомним, что рецепция постструктуралистских идей началась в СССР именно в конце 70-х – начале 80-х.

фиксированной структуры зависит от постулирования *центра*, который может быть только не полностью подчиненным субъектом.

И Деррида отказывается от такого центра (здесь должны зазвучать фанфары). Результатом оказывается не более высокий уровень полностью очищенных структур, а «потеря объективных координат организации» освобожденными от центра структурами. Структура теперь — это абсолютный случай, а постструктурализм оказывается, по выражению Андерсона «субъективизмом без субъекта».

Отступление: дело Хомского

Прервемся здесь на время, чтобы подробнее остановиться на первой отмеченной Андерсоном особенности постмышления — гипертрофии языка.

Один из самых громких слоганов постструктурализма — это лакановское «бессознательное структурировано подобно языку». По этому поводу Андерсон делает два замечания:

Истинный смысл трудов Лакана не в том, что бессознательное структурировано подобно языку, а скорее в том, что язык как таковой образует отчуждающую область бессознательного как Символический порядок, порождающий непреодолимого и непримиримого Другого и тем самым желание и его подавление через цепь перенных (с. 187).

И еще:

Бессознательное у Фрейда как объект психоаналитического опыта определяет его неспособность к генеративной грамматике, согласно постсоссирианской лингвистике, включающей в себя глубинные структуры языка, способность составлять предложения и соблюдать правила их преобразования. Бессознательному, по Фрейду, незнакомому даже с отрицанием, чужд всякий синтез (с. 189).

Вот еще одно объяснение тому, почему Хомский — создатель генеративной лингвистики — так резко выступает против постмодернизма (см. выше).

Урок

Ту проблему — проблему диалектической связанности субъекта и структуры — которую не решил марксизм, не смог решить и (пост)структурализм. Языковая модель

отнодь не проясняя и не расшифровывая отношений между структурой и субъектом, привела от риторического абсолютизма первой к фрагментарному фетишизму второго, так и не продвинув вперед теорию их отношений (с. 201).

Так что «победа» постмодернизма над марксизмом, как делает вывод Андерсон, не в теории, а во внешней истории политики и общества. Действительно, подлинной «победой» (добавлю уже от себя) постмышления над марксизмом было бы решение проблемы субъекта и структуры и занятие на этой основе определенной независимой политической позиции. Но, как отмечает английский исследователь, не произошло не только первого, но и второго.

Удивительный факт: у (пост)структурализма никогда не было собственной независимой политической позиции:

структуралисты прошли путь следования политической «моды», «пассивного приспособления к господствующим веяниям и настроениям времени» — от марксизма через маоизм и неоанархизм и вплоть до либеральной апологетики статус-кво (Соллерс, Кристева);

размышления (пост)структуралистов о политическом моменте по существу никогда не касались этой самой политики, а их политические позиции

могут быть консервативны или являться результатом сговора, но независимо от этого они обладают очень малым реальным весом и малой действенностью. Их бессмысленность поражает еще больше, чем их уникальность. Будучи размышлениями о текущей политической обстановке, а по существу находясь вне политики, они могут вновь трансформироваться с изменением обстановки. Они дают нам общие сведения о французской истории прошедших десятилетий и очень мало об идеях самого структурализма (с. 203).

(Как все похоже; только русский вариант вне-политичности постмодернизма — не столько «пассивное следование», сколько непроницаемое *молчание* о политических вопросах.) Итак, «пестрый политический послужной список структурализма подчеркивал его зависимость от внешних событий, которые он не мог теоретически обосновать» (с. 215). Это и понятно, неспособность теории обосновать, а потом, следовательно, и занять независимую политическую позицию и приводит к покорному следованию за политическими веяниями¹⁴.

И все же — «Париж сегодня — столица интеллектуальной реакции в Западной Европе». Почему такая жесткая дефиниция? Почему «реакция»? Разве постмышление не продемонстрировало нам множество утонченнейших образцов самого искусного мышления?

Потому что утонченность ничуть не противоречит реакции и прекрасно может ей служить. Потому что если между мифами индейцев или греков и современной теорией общества нет принципиальной разницы, то всякое стремление к будущему, лучшему обществу обречено — по раз и навсегда данным, то есть метафизическим, основаниям — на провал. А это и есть самая натуральная реакция. Исторический пессимизм, защита статус-кво — классическое определение и воплощение реакции.

Но может быть постмодернизм «реакционен» для Западного мира? А для России, по многим параметрам находящейся еще в 19, если не в 18 веке, он играет «исторически прогрессивную роль» феномена второй половины века двадцатого? Сомневаюсь. На наших глазах разыгрываются величайшие исторические события — разве молчание о них может хоть когда-либо быть «исторически прогрессивно»?

¹⁴ Это только беглый *пересказ* некоторых *фрагментов* книги Андерсона. Поэтому всем, кто интересуется данным кругом вопросов, я взял бы на себя смелость посоветовать прочесть эту важную для нас сегодня книгу.

Заключение

В анализе русского постмодернизма (крайне сложном анализе) надо учитывать по крайней мере следующие факторы:

- внутреннее устройство и внутреннюю историю западного постмодернизма;
- внешнюю социальную историю Западного мира в послевоенный период;
- особенности импорта и рецепции идей постмодернизма в СССР (России);
- социальную историю СССР (России).
- внутреннее устройство местного постмодернизма.

Все эти факторы находятся в сложной и исторически изменчивой связи. И в этой сложной и деликатной области я опираюсь всего-навсего на две книги российского постмодерниста (хотя и крайне симптоматичные книги) и две книги западных критиков западного постмодернизма (хотя и содержащие блестящий обзорный анализ; библиография их составляет десятки и сотни связанных с вопросом книг).

Естественно, что любой специалист легко укажет мне на огрехи и даже грубые ошибки. Но начинать же с чего-то надо? Кроме того, извинение и апология несоответствия замаха и удара может состоять в том, что «русский философский постмодернизм» — к счастью ли, к несчастью ли — это в лучшем случае два с половиной человека и в лучшем случае два с половиной десятка книг...

Рецензируемые издания:

Рыклин М. К. Пространства ликования. Тоталитаризм и различие. М.: Издательство «Логос», 2002. — 280 с.

Рыклин М. К. Деконструкция и деструкция. Беседы с философами. М.: Издательство «Логос», 2002. — 270 с.

Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна/Пер. с англ. А. Костиковой и Дм. Кралечкина. — М.: «Дом интеллектуальной книги», 2002. — 248 с.

Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического материализма: Пер. с англ. — М.: Интер-Версо, 1991¹⁵. — 272 с.

¹⁵ 1991 год издания — это не опечатка.